

Береника

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem,
curas meas aliquantulum fore levatas.

*Ибн-Зайат*¹

Горе многолико. Печаль земная многогранна. Она простирается над широким земным горизонтом, точно радуга, и оттенки ее так же бесчисленны, как цвета этой арки, так же отчетливы, но так же и безгранично неотделимы друг от друга. Простирается над широким горизонтом! Как вышло, что красоту я превратил в уродство? Заговор мира и покоя — в метафору печали? Однако, подобно тому как в этике зло считается следствием добра, так и в действительной жизни скорбь рождается из счастья. Не то воспоминания о былом блаженстве приносят сиюминутную муку, не то страдания, которые *есть*, коренятся в восторгах, которые *могли бы быть*.

При крещении я был наречен Эгеем. Свое родовое имя я не назову. Но на этих землях нет замков, более овеванных веками, чем мои мрачные, серые фамильные чертоги. Линию нашу всегда почитали племенем мечтателей, и во множестве удивительных частных — в самих формах родового жилища, во фресках главного зала, в обивке стен почивален, в резьбе некоторых колонн в оружейной комнате, но более всего в галерее старинных полотен, в обустройстве библиотеки и наконец в особенном своеобразии ее содержимого — доказательствах, подтверждающих эту веру, более чем достаточно.

¹ Мне говорили собратья, что горе мое исцелится, если я навещу могилу подруги (лат.).Ибн-Зайат — арабский поэт XI в. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)

Воспоминания о моих самых ранних годах связаны с этой комнатой и хранящимися в ней томами, о которых более я упоминать не стану. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Впрочем, неверно говорить, что меня до тех пор не существовало; утверждать, что душа человека не имеет предыдущего существования — пустые слова. Возражаете? Давайте не будем о том спорить. Будучи убежден сам, я не испытываю потребности убеждать. И все же память моя хранит воспоминания о каких-то тонких неземных формах; о взорах, преисполненных разума и духа; о звуках, мелодичных и в то же время грустных, — воспоминания, которые нельзя исключить, воспоминания, подобные неуловимой тени, такие же неосязаемые, непостоянные, зыбкие; сходные с тенью еще и тем, что мне не избавиться от них, доколе разум мой будет озарять их своим сиянием.

В той комнате появился на свет я. Итак, пробудившись после долгой ночи того, что казалось, но не было небытием, оказавшись в самом сердце полного чудес волшебного мира, во дворце воображения, в неизведанных просторах монастырской мысли и учености, стоит ли дивиться тому, что я посмотрел вокруг удивленным и горящим взором, что детство свое я провел за книгами, а отрочество посвятил раздумьям? Но что *удивительно*, по прошествии стольких лет, в зените зрелости, все еще пребывая в отцовских стенах, что *на самом деле поразительно*, так это то, какое безволие сковало родники моей жизни; поразительно, какая полнейшая перемена произошла в природе даже самых обыденных моих помыслов. Реальности мира стали представляться мне порождением фантазии, всего лишь видениями, не более; но вот дивные помыслы мира грез превратились, нет, не в смысл моего каждодневного существования, они полностью и всецело заменили самое это существование.

* * *

Береника была моей кухней, и в родовом замке мы росли вместе. Но росли по-разному: я — нездоровым, хмурым,

она — живой, изящной, пышущей энергией; ей бы все резвиться среди лугов на склонах холмов, мне — корпеть над книгами в тишине; я — живя своим сердцем, телом и душой отданный самым напряженным и болезненным размышлением, она — беспечно идя по жизни, не задумываясь о теньях на пути или о молчаливом полете вранокрылого времени. Береника! К *ее* имени взываю я... Береника!.. И из серых руин памяти тысячи беспокойных воспоминаний восстают, потревоженные этим звуком. Ах, как же ясно образ ее теперь стоит у меня перед очами, так же ясно, как в дни ее беспечной юности и беззаботного счастья. О, прекраснейшая из красавиц, пленяющая диковинной красотой! О, сильфида меж зарослей арнхеймских! О, плещущаяся средь волн наяда! А после... а после — тайна и ужас, то, о чем рассказывать негоже. Болезнь, смертельная болезнь горячим самумом обрушилась на нее; и, глядя на нее, я не мог не заметить, что дух перемены витал над ней, пронизывая ее разум, ее привычки, ее характер, самым незаметным и жутким манером тревожа даже самое ее суть! Увы! Разрушитель явился и сгинул, а жертва... Где она? Я не узнавал ее... во всяком случае, я более не узнавал в ней Беренику.

Среди многочисленных недугов, принесенных этою хворью, смертельным и тягчайшим, вызвавшим столь жуткую душевную и физическую перемену в моей кухне, самым удручающим и стойким по природе своей была эпилепсия, которая не раз заканчивалась *трансом*, трансом, неотличимым от смерти, от которого пробуждалась она почти всегда с поразительной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь — ибо мне было сказано, что никаким иным словом называть мое состояние не следует — моя собственная болезнь стремительно поглощала меня и наконец приобрела характер мономании, необычной и исключительной формы, ежечасно, ежесекундно укрепляющейся и набирающей силу и со временем обретшей надо мной непонятную власть. Мономания эта — раз уж я должен так ее называть — заключалась в болезненной раздражительности тех качеств разума,

которые, как полагает метафизическая наука, отвечают за внимание. Более чем вероятно, что изъясняюсь я непонятно, но боюсь, что просто не существует того способа, которым можно было бы вложить в разум обычного читателя должное представление о той нервной «напряженности интереса», с которой я погружался в созерцание и «обдумывание» (если не воспринимать этот термин технически) даже самых будничных, самых наиобычайших предметов во Вселенной.

Размышлять долгими нескончаемыми часами, глядя на какую-нибудь легкомысленную картинку, нарисованную на полях книги, или рассматривая шрифт, которым набран текст; сосредоточиться на затейливых тенях, падающих наискось на гобелен или на пол, и просидеть так большую часть летнего дня; замороженно наблюдать целую ночь за ровным огнем какой-нибудь лампы или за тлеющими углями в камине; посвятить несколько дней кряду обдумыванию аромата цветка; монотонно твердить одно и то же слово, какое-нибудь самое обычное, повседневное слово, откуда звук его от многократного повторения полностью не утрачивает смысл; потерять всяческое ощущение движения или вообще физического существования, предавшись полнейшей телесной расслабленности, длительной и настойчивой, — вот лишь некоторые из самых частых и наименее безобидных причуд, вызванных состоянием умственных процессов, не то чтобы совсем утративших какое-либо подобие четкости, но, несомненно, не поддающихся анализу либо объяснению.

И все же я не хочу быть понятым неправильно. Столь непомерное, искреннее и нездоровое внимание, вызываемое подобными по самой природе своей малозначимыми объектами, ни в коем случае не стоит приравнять к той предрасположенности к созерцательности, которая свойственна всем людям, и в особенности проявляющейся у личностей, наделенных слишком живым воображением. Это даже не было, как может поначалу показаться, каким-то необычным состоянием, или даже просто преувеличенным проявлением подобной склонности — это было совершенно определенное и ни на что не по-

хожее состояние. Если в первом случае мечтатель, или человек увлеченный, заинтересовавшись каким-либо объектом, обычно не малозначимым, незаметно для себя теряет из виду сей объект в бесконечном множестве порожденных им разнообразных идей и умозаключений, пока на излете этой мысли, часто весьма возвышенной, он вдруг не обнаруживает, что *incitamentum*¹, или первопричина его задумчивости, исчезла или полностью забыта. В случае со мной первопричина была всегда малозначимой, хотя мое расстроенное воображение неизменно наделяло ее какой-то противоестественной и фантастической важностью. Если моя мысль и делала какие-то шаги в сторону, то их было немного, и всегда она упрямо возвращалась к тому, что являлось отправной точкой. Размышления никогда не приносили мне удовольствия, и если что-то выводило меня из задумчивости, первопричина этого, если уже не находилась перед глазами, вызывала тот еще больший, на этот раз прямо-таки сверхъестественный интерес, который и был основным признаком моего недуга. Одним словом, у меня в первую очередь в ход шли те силы разума, которые отвечают, как я уже говорил, за *внимание*, а у обычного мечтателя — за *мышление*.

Надо сказать, что книги, увлекавшие меня в ту пору, если сами и не являлись причиной моего расстройства, своею фантастичностью, своим разнообразием во многом отражали признаки этого расстройства. Среди прочих я хорошо помню трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона² «*De Amplitudine Beati Regni Dei*»³, великий труд Блаженного Августина⁴ «О граде Божием» и «*De Carne Christi*»⁵ Тертулиана⁶, парадоксальные слова из которой «*Mortuus est Dei*

¹ Побудительная причина (лат.).

² Курион, Целий Секунд (1503—1569) — итальянский гуманист.

³ «О величии блаженного царства Божия» (лат.).

⁴ Блаженный Августин (354—430) — христианский богослов, влиятельный проповедник и писатель.

⁵ «О пресуществлении Христа» (лат.).

⁶ Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 230) — раннехристианский богослов и писатель.

*filius; credible est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»*¹ на многие недели погрузили меня в напряженные и бесплодные изыскания.

Так может показаться, что разум мой, утрачивающий равновесие только лишь под влиянием самых обыденных вещей, имел сходство с тем упоминаемым Птолемеем Гефестионом² океанским утесом, который, не поддавшись могучей силе человека и еще более яростному неистовству волн и ветра, дрогнул от прикосновения цветка, называемого асфоделью. Впрочем, если досужему мыслителю и может показаться несомненным фактом то, что в переменах, произведенных ее горестным недугом в *душевном* состоянии Береники, я мог отыскать немало поводов для той напряженной и ненормальной работы мысли, природу которой мне стоило таких трудов объяснить, это ни в коем случае не соответствует действительности. В периоды, когда задумчивость моя на время оставляла меня, ее беда заставляла меня страдать, и все же, принимая близко к сердцу тот крошечный ад, в который превратилась ее светлая и чистая жизнь, я довольно редко и не так уж глубоко задумывался над тем, каким чудодейственным образом подобный перелом мог произойти столь внезапно. Однако мысли эти не имели ничего общего с моей болезнью и ничем не отличались от тех, что в подобных обстоятельствах приходят в голову любому человеку. Оставаясь верным себе, безумие мое упивалось менее важными, но более удивительными переменами в *физическом* облике Береники, в том, как необыкновенно и страшно исказилась ее внешность.

В дни расцвета ее несравненной красоты я не любил ее. Мое существование было настолько противоестественным, что чувства *никогда* не шли от сердца, а волнения *всегда* были порождением разума. Сквозь серость раннего утра, среди пестрых теней полуденного леса и в тиши своего ка-

¹ «Умер сын Божий — заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно» (лат.).

² Птолемей, Клавдий (87—165) — древнегреческий математик и географ.